

ПРИГЛАШЕНИЕ К СПОРУ

В.Г.ШЕВЧЕНКО

«ТРАКТАТ О СМЕРДЯКОВЕ»

«Помни особенно, что не можешь ничьим
судиею быти».

Старец Зосима

Б.М.Энгельгардт в своей работе «Идеологический роман Достоевского» писал: «Разбираясь в русской критической литературе о произведениях Достоевского, легко заметить, что за немногими исключениями, она не подымается над духовным уровнем его любимых героев. Не она господствует над материалом, но материал целиком владеет ею. Она все еще учится у Ивана Карамазова и Раскольникова, Ставрогина и Великого Инквизитора, запутываясь в тех противоречиях, в которых запутывались они, останавливаясь в недоумении перед не разрешенными ими проблемами и почтительно склоняясь перед их сложными мучительными переживаниями»¹.

Разбираясь в критической литературе о романе «Братья Карамазовы», легко заметить, что она не подымается над *общепринятой* точкой зрения, сформулированной еще взглядами на роман В.В.Розанова, С.Н.Булгакова и Н.А.Бердяева и максимально сжато выраженной Ю.Ф.Карякиным в его книге «Достоевский и канун XXI века»: «Все это достаточно хорошо известно и, можно сказать, общепринято: аморальный атеизм Ивана («Бога нет — все позволено») подготавливает «передовое мясо» — Смердяковых»².

Но почему — «Смердяковых»? В романе Достоевского один Смердяков. И к чему «подготавливает»? Кроме того, фраза: «Уважать меня вздумал; это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит» (14; 122), — высказана в главе «За коньячком» вот этим самым «аморальным атеистом» Иваном Карамазовым в беседе с еще более аморальным Федором Павловичем.

Данная статья является частью большой работы, посвященной роману «Братья Карамазовы», которая, как надеется автор статьи, в будущем будет издана отдельной книгой. Печатается с сокращениями.

Морально ли беседе двух аморальных героев придавать значение Авторского замысла? Скорее всего — нет.

В подробном, развернутом и аргументированном виде *общепринятая* точка зрения представлена в «Примечаниях» к роману «Братья Карамазовы» (15; 393), в авторский коллектив которых входят известные исследователи творчества Достоевского. К этим «Примечаниям», так же, как и к «Черновым наброскам» Автора к роману (15; 199), мы вынуждены будем обращаться неоднократно.

Следует отметить, что современная критика несколько изменила свою позицию. Она учится у старца Зосимы и Алеши Карамазова.

Центральным событием рассказа-притчи о братьях Карамазовых является убийство отца, Федора Павловича. На фоне этой «катастрофы» всего карамазовского семейства Достоевский исследует внутренний мир участников событий и главных героев рассказа, начиная с обстоятельств рождения, наследственности, воспитания и дальнейшей самостоятельной жизни героев.

Главной целью Достоевского является выяснение степени участия и ответственности участников трагических событий и мера их раскаяния, осознания своей собственной вины после того, как «катастрофа» совершилась.

Несмотря на некоторые отличия в оценке роли братьев Карамазовых в убийстве отца, все критики единодушны в одном. В том, что убийцей Федора Павловича несомненно является лакей Смердяков.

При тщательном анализе работ критиков, посвященных роману «Братья Карамазовы», неизбежно встает вопрос: на чем основано это обвинение? Никаких доказательств вины Смердякова в тексте романа НЕТ.

Нельзя считать таким доказательством три тысячи, возвращенные Смердяковым Ивану при их третьей встрече. Украл — еще не значит убил. Да и крал ли Смердяков эти деньги? А если крал, то почему вернул их в целости? Тот факт, что деньги оказались у него, может служить лишь поводом для серьезных размышлений, основанных на тексте произведения, о том, как, когда и каким образом они к нему попали.

Нельзя считать таким доказательством и «признание» Смердякова в убийстве при его третьем свидании с Иваном Карамазовым, так как оно полностью противоречит и выводам следствия по делу убийства, и описанию событий трагической ночи в саду Федора Павловича. Не заметить этого может только исследователь произведения, не желающий замечать очевидного.

Такое же «признание» мы можем найти и в показаниях Дмитрия Карамазова, отрицавшего в начале следствия свою причастность к преступлению, а затем в сердцах воскликнувшего:

«— Запиши сейчас... сейчас... «что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего... Федора Павловича... ударом по голове!» Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу?» (14; 424).

И далее:

«— Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и... и что же произошло затем?»

— Затем? А затем убил... хватил его в темя и раскроил ему череп. Ведь так, по-вашему, так! — засверкал он вдруг глазами. Весь потухший было гнев его вдруг поднялся в душе его с необычайною силой» (14; 425).

«Признание» Смердякова неуловимо воспроизводит восклицание доведенного до отчаяния Дмитрия. В убийстве Федора Павловича Смердякова обвиняли и Дмитрий, и Алеша Карамазовы. Ему при втором свидании говорил Иван: «Это ты его убил! <...> Подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!» (15; 52,54). И тогда при третьей встрече прозвучало: «Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не вскрикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови» (15; 64).

Не хватает в этом «признании» только вопроса: «Ну, довольны ли вы теперь, господа Карамазовы? Отвели душу?»

Потом, после своего «признания», у Дмитрия было достаточно времени, чтобы это свое «признание» опровергнуть. Было кому и выслушать это опровержение. Смердяков этого сделать не успел. Достоевский уклонился от доказательств его невиновности в своем первом «вступительном» романе о братьях Карамазовых. Автор этой работы взял на себя смелость доказать, опираясь на текст произведения, что Смердяков в убийстве Федора Павловича НЕПОВИНЕН.

Если не утруждать себя кропотливой и весьма трудоемкой работой с текстом сложнейшего романа Достоевского, то доказательства вины Смердякова можно найти, так сказать, на поверхности. Есть «признание» лакея в убийстве? Есть. Оно в главе «Третье и последнее свидание с Смердяковым», высказанное Ивану: «Вы убили, вы главный убийца и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил» (15; 59).

Лакеем Иван Карамазов в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» называет «черта». И при этом говорит: «Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» (15; 72).

В этой же главе «черт» фактически признается Ивану в убийстве Федора Павловича: «Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от *него* узнал! Почему ты узнал, что *он* ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал» (15; 72).

Откроем главу «Не ты, не ты!»

«— Такого документа (письма Дмитрия Катерине Ивановне — В.Ш.),

не может быть! — с жаром проговорил Алеша. — Не может быть, потому что убийца не он. Не он (Дмитрий — В.Ш.) убил отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.

— Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно по-видимому спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.

— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша.

— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.

— Ты сам знаешь, кто, — бессильно вырвалось у него. Он задышался.

— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.

— Я одно только знаю, — все так же почти шепотом проговорил Алеша. — Убил отца *не ты*. <...>.

Оба замолчали. Целую минуту протянулось это молчание. <...> Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.

— Ты был у меня! — скрежущим шепотом проговорил он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавайся... ты его видел, видел?

— Про кого ты говоришь... про Митю? — в недоумении спросил Алеша.

— Не про него, к черту изверга! — исступленно завопил Иван. — Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори!

— Кто *он*? Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепетал Алеша уже в испуге.

— Нет, ты знаешь... иначе как же бы ты... не может быть, чтобы ты не знал...

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы» (15; 39,40).

Ходил к Ивану Карамазову по ночам «черт». Остается только связать эти два «признания», Смердякова и «черта», в единое целое. И таким связующим звеном является описание душевного состояния Ивана перед его встречей со Смердяковым у ворот в главе «Пока еще очень неясная»: «Наконец Иван Федорович, в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома и вдруг, примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило.

На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, что именно этого-то человека и не может вынести его душа» (14; 242).

Выделенная фраза процитирована во многих работах, а значение, которое ей придается, стало общим местом.

И, наконец, есть слова Ивана, сказанные Алеше в главе «Это он говорил»: «А *он* — это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное!» (15; 87).

И далее: «Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне

же на меня же в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца» (15; 87), — хорошо сочетается с признанием Ивана на суде: «Убил отца он (Смердяков — В.Ш.), а не брат. Он убил, а я его научил убить» (15; 117).

Круг замкнулся и все, казалось бы, прочно встало на свое место. Убийца Смердяков — это воплощение всего самого «низкого, подлого и презренного» в душе Ивана Карамазова. Он и есть «черт».

Остается только выяснить, в какой степени «признание» Ивана соответствует действительности.

Такова, можно сказать, ИСТОРИЧЕСКАЯ точка зрения на роман, высказанная в работах: Я.Э.Голосовкера («Достоевский и Кант»), М.М.Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского»), В.Е.Ветловской («Поэтика романа «Братья Карамазовы»).

Ю.Г.Кудрявцев в книге «Три круга Достоевского», например, прямо пишет: «Иван видит черта. Черт — часть самого Ивана, смердяковское в нем. И сам Иван это понимает»³.

Эта точка зрения («черт Смердяков») подтверждается и в последних работах критиков (См. «Достоевский и мировая культура», альманах № 9, В.А.Недзвецкий: «Мистериальное начало в романе Ф.М.Достоевского», стр. 52, 53).

Последнюю точку в обвинении лакея поставил в конце романа, уже после трагической гибели обвиняемого, Алеша Карамазов в беседе с мальчиками в главе «Похороны Илюшечки. Речь у камня»:

— Что такое, Коля? — приостановился Алеша.

— Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи.

— Убил лакей, а брат невинен, — ответил Алеша» (15; 189).

Так и стало. Слова: «Убил лакей, а брат невинен» в романе «Братья Карамазовы» имеют глубочайший философский смысл. Сказанные же Алешей Карамазовым мальчикам, будущему поколению обитателей Скотопригоньевска, и воспринятые критикой буквально, они послужили основанием для долгого и жестокого суда над безвинным героем романа, а значит и над Автором тоже. Имя Смердякова стало, пожалуй, самым нарицательным именем в русской литературе и не сходит со страниц журнальных и газетных статей до сего времени, олицетворяя собой все «самое низкое, подлое и презренное» в человеке.

В «Предисловии к публикации русского перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» Достоевский писал: «Его (Гюго) мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» (20; 28).

Это мысль, мощно прозвучавшая еще в романе «Униженные и ос-

корбленные»: «Самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» (3; 189).

Вот с этой точки зрения, «христианской и высоконравственной», с точки зрения «оправдания брата», автор статьи и предлагает прочитать роман «Братья Карамазовы».

В своем первом, вступительном романе «Братья Карамазовы» Достоевский ПОКАЗАЛ читателю «униженного и всеми отринутого парию общества» — Смердякова. Оправдание его, по убеждению автора этой работы, должно было состояться во втором, «главном» романе, который так и не был написан.

Попытаемся сделать это на том материале, который имеется в нашем распоряжении. Это текст романа, «Дневники писателя» Достоевского и его письма.

«Признание» в убийстве Дмитрия Карамазова на следствии бесспорно опровергается выводами следствия: «Убийство произошло, очевидно, в комнате, *а не через окно*, что положительно ясно из произведенного акта осмотра, из положения тела и по всему. Сомнений в этом обстоятельстве не может быть никаких» (14; 426).

Откроем главу «В темноте», описывающую события трагической ночи: «Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно и соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерною. «Здесь она, наконец, или не здесь?» — злобно закипело у него в сердце. И он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым: два первые раза потише, а потом три раза поскорее: тук-тук-тук — знак, означавший, что «Грушенька пришла». Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову.

— Грушенька, ты? Ты, что ли? — проговорил он каким-то дрожащим полусшепотом. — Где ты маточка, ангелочек, где ты? — Он был в страшном волнении, он задышался.

«Один!» — решил Митя.

— Где же ты? — крикнул опять старик и высунул еще больше голову, высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево, — иди сюда; я гостинчику приготовил, иди, покажу!..

«Это он про пакет с тремя тысячами», — мелькнуло у Мити.

— Да где же?.. Аль у дверей? Сейчас отворю... И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте <...> Митя смотрел сбоку и не шевелился <...> Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана...» (14; 354).

Продолжение рассказа не последовало. Но если бы Дмитрий в этот момент нанес своему отцу смертельный удар пестиком по голове, то кровь, залившая подоконник и лицо Федора Павловича, тело его, рас-

простертое непосредственно у окна, исключили бы вывод следствия: «Убийство произошло, очевидно, в комнате, *а не через окно*». Поэтому Достоевский и выделил в романе это выражение курсивом.

Служанка Марфа, заглянувшая через некоторое время в открытое окошко, увидела страшное зрелище: «Барин лежал навзничь на полу, без движения. Светлый халат и белая рубашка на груди были залиты кровью. Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мертвое лицо Федора Павловича» (14; 409).

Это и означает вывод следствия: «из положения тела и по всему».

Теперь послушаем «признание» Смердякова: «Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь как младенец: «Где здесь? Где?» — так и охает, а сам еще не верит. «Там, говорю, стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит и не верит, а отпереть боится. Это уж меня-то, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили <...>. «Где она, где она?» — смотрит на меня и трепещет. <...> Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, говорю не видели?» <...> Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?» <...> «Да вон она, говорю <...> вон она в кусте-то стоит, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно» (15; 64).

Далее, как мы помним, в ход пошло чугунное пресс-папье. Похоже на рассказ Дмитрия о событиях в саду Федора Павловича? Очень.

Так же «вздрогнул», та же рама, те же стуки, так же «весь и высунулся» или «чуть не вылез из окна».

Выводы следствия опровергают и «признание» Дмитрия, и «признание» Смердякова в одинаковой степени.

«Признание» Смердякова безусловно вымысел, причем вымысел явно не продуманный. Второпях он даже «забывает» свечку на окне: «Осмотрел я: нет ли на мне крови, не брызнуло, пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь».

О свечке ни слова. Забыл?!

Зачем Смердякову потребовалось сочинять в беседе с Иваном свое нелепое «признание» и брать на себя вину в убийстве Федора Павловича? Это один из интереснейших вопросов романа.

«Книга первая» романа начинается словами: «Алексей Федорович был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамзова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад» (14; 7).

Не вызывает сомнения то, что для Достоевского неясностей в этом

вопросе нет, и он предостерегает читателя (и критика тоже!) от поспешных и необдуманных обвинений кого-либо из участников событий. Для Повествователя же, рассказывающего о карамазовской истории, причлчившейся в городке Скотопригоньевске, обстоятельства гибели старика Карамазова не стали ясны и после суда над Дмитрием, и по прошествии большого периода времени.

Откуда героя взять? Это был один из важнейших вопросов для Достоевского при подготовке к работе над романом «Братья Карамазовы».

В «Примечаниях» к роману по этому поводу говорится: «Как справедливо указал Л.П. Гроссман, отраженное в предисловии к «Собору Парижской Богоматери» стремление создать новый для литературы XIX в. образец романа-эпопеи, построенный на материале современной «текущей» общественной жизни и проникнутый идеей «восстановления» человека, было в определенной мере стимулировано выходом в 1862 г. «Отверженных» В.Гюго, тогда же прочитанных Достоевским, по свидетельству Н.Н.Страхова во Флоренции, и оказавших значительное воздействие на основную проблематику его предисловия <...> и на направление проявившихся в нем творческих исканий» (15; 400).

Надо признать, что великое новшество романтической драмы и прозы В.Гюго — это выдвигение на первый план героя-простолюдина, типа подкидыша Дидье, шута Трибулье, лакея Рюи Блаза, Гуинплена или незаконнорожденного Жавера, которым отдается подлинное благородство души, способность по-настоящему любить, активно отстаивать свои чувства и убеждения.

Огромное значение творчества В.Гюго в том, что оно привлекает симпатии читателя именно к этим угнетенным («униженным и оскорбленным») гонимым, но благородным героям, делая их моральными победителями в конфликте с сильными мира сего даже в том случае, когда эти герои терпят поражение и должны погибнуть.

Созвучность творчества Достоевского и В.Гюго подчеркнута в «Примечаниях» к роману «Братья Карамазовы», где комментируется перевод записей, сделанных Достоевским о герое романа «Отверженные» Жавере в «Записной тетради» за 1875-1876 гг.: «Он был скромн и надменен, как все фанатики. Он свято чтит свои обязанности, и он был шпионом, как бывают священником».

И далее: «Это был шпион без всякой злобы» (24; 83).

«В 1876 г. Достоевский вспомнил о Жавере в связи с посещением Воспитательного дома для незаконнорожденных детей, — пишут авторы «Примечаний», — (см. «Дневник писателя» за 1876 г., май, гл. 2, «Нечто об одном здании. Соответственные мысли», где описано это посещение). Размышляя о том, как воспримут дети внушаемую им мысль, что они «не обыкновенные дети <...> что они хуже всех», Достоевский сделал заметку: «Почему? Это <...> потому-де, что отец твой и мать бесчестные. Почему бесчестные? Чувства. Средина и бездарность — подла. Верхушка — зло-

действие или благородство, или и то и другое вместе. Вот где героя романа взять <...>».

Несмотря на то, что психологический рисунок образов Жавера и Смердякова, их нравственная сущность и положение в обществе не имеют, казалось бы, ничего общего <...> при создании незаконнорожденного, четвертого из братьев Карамазовых, у Достоевского (как об этом свидетельствует комментируемая запись) возникали ассоциации с героем Гюго. <...> Создав образ Смердякова, Достоевский выполнил намерение дать свой, русский вариант «enfant trouvé», принадлежащего к «средине и бездарности» и поэтому «подлеца» (15; 610).

Но в главе «Нечто об одном здании. Соответственные мысли» Достоевский пишет не о том, «как воспримут дети внушаемую им мысль, что они «хуже всех». Он пишет о другом: «Я, например, спрашивал себя мысленно и ужасно хотел проникнуть: когда именно эти дети начинают узнавать, что они всех хуже, то есть что они не такие дети, как «те другие», а гораздо хуже и живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности? Проникнуть в это нельзя, без большого опыта, без большого наблюдения над детками, но а priori я все-таки решил и убежден, что узнают они об этой «гуманности» чрезвычайно рано, то есть так рано, что, может быть, и нельзя поверить. В самом деле, если б ребенок развивался только посредством научных пособий и научных игр и узнавал мироведение через «утку», то я думаю, никогда бы не дошел до той ужасающей, невероятной глубины понимания, с которою он вдруг осиливает, совсем неизвестно каким способом иные идеи, казалось бы совершенно ему недоступные. Пяти-шестилетний ребенок знает иногда о Боге или о добре и зле такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что этому младенцу даны природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже, на основании педагогики, должны бы были почти отвергнуть» (23; 21-22).

Эта запись Достоевского относится непосредственно к брошенным детям, к *enfant trouvé*. Тогда почему авторы «Примечаний» не отнесли ее к Смердякову? Не соответствует характеристике лакея, принадлежащего к «средине и бездарности» и потому «подлеца»?

И, наконец, последнее. В своих «Дневниках писателя» Достоевский неоднократно упоминает о «средине и бездарности», но каждый раз это относится к «русским людям классов интеллигентных» или их благополучным детям («Елка в клубе художников»). В очерке «Маленькие картинки (в дороге)» он пишет о собравшихся в дороге представителях «русского образованного общества» (публики): «Что делать: крайности — наша черта. Виновата к тому же и наша бездарность; кто что ни говори, а у нас ужасно мало талантов в каком бы то ни было роде; напротив, ужасно много того, что называется «золотою серединою». Золотая середина — это нечто трусливое, безличное, а в то же время чванное и даже задорное» (21; 160).

Эта же мысль неоднократно звучит в романе «Бесы».

Как, каким образом можно отнести к «образованному обществу» Смердякова — в детстве его писать и читать научил слуга Федора Павловича Григорий — «мрачный, глупый и упрямый резонер» (14; 13), который «читал Четьи-Минеи, больше молча и один <...>. Любил книгу Иова, добыл откуда-то список слов и проповедей «Богоносного отца нашего Исаака Сирина», читал его упорно и многолетно, почти ровно ничего не понимая в нем, но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу» (14; 89)?

Следует отметить, что все дети Федора Павловича Карамазова — брошенные дети, «enfant trouvé», и об этом прямо сказано в тексте романа. Первая жена Федора Павловича, Аделаида Ивановна, «бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибающим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю» (14; 9). Затем «трехлетнего мальчика взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время». Федор Павлович «вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, но не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно» (14; 10).

Вторая жена Федора Павловича родила ему «двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году. <...> По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и заброшены отцом и попали все к тому же Григорию и так же к нему в избу» (14; 10).

Кроме того, авторами «Примечаний» осталась незамеченной и еще очень глубокая мысль, высказанная Автором романа в статье «Нечто об одном здании. Соответственные мысли» и имеющая прямое отношение к героям «Братьев Карамазовых»: «Если простить им («вышвыркам», брошенным детям — В.Ш.), так простят ли они?» Вот ведь тоже вопрос. Есть иные высшего типа существа, те простят; другие, может быть, станут мстить за себя, — кому, чему, — никогда они этого не разрешат и не поймут, а мстить будут» (23; 23).

Впечатления от посещения Достоевским «Воспитательного дома для незаконнорожденных детей» легли в основу («Вот откуда героя взять») образов главных героев романа.

По поводу «общественных предрассудков», существующих и поныне, в «Примечаниях» есть замечательный комментарий: «Происхождение последнего (Смердякова — В.Ш.) <...> особые обстоятельства рождения, наконец, его прозвище — Смердяков — определили в какой-то степени и главные черты нравственного облика этого персонажа.

Введение в повествование четвертого брата, которому была поруче-

на роль отцеубийцы, позволило психологически и философски углубить характер Ивана и смысл авторского суда над ним» (15; 416).

О «нравственном облике персонажа» можно почитать чуть ранее, в тех же «Примечаниях»: это «реальный физический убийца, исполнитель чужой воли, лишенный совести, а поэтому спокойно берущий на себя практическое осуществление того, от чего отшатываются теоретики имморализма Ставрогин и Иван» (15; 404-405).

Согласиться с тем, что «обстоятельства рождения» Смердякова определили указанные авторами «Примечаний» главные черты его «нравственного облика», не представляется возможным.

Христос, как известно, родился в хлеву. Пророк Моисей из сироты и подкидыша, найденного в ивовой корзине (*enfant trouvé*), из косноязычного пастуха-заики превратился в дальнейшем в духовного пастыря своего народа.

Ну и что?

И уж тем более невозможно согласиться с тем, что «главные черты его облика» определило прозвище — Смердяков.

Дело в том, что прозвище дал младенцу не Достоевский, а чудовищно безнравственный Федор Павлович Карамазов. «Ребеночка спасли, а Лизавета к рассвету померла. Григорий взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди: «Божье дитя-сирота — всем родня, а нам с тобой подавно. Это покойничек наш прислал, а произошел сей от бесова сына и от праведницы. <...>». Окрестили и назвали Павлом, а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Федоровичем. Федор Павлович не противоречил ничему и даже нашел все это забавным, хотя изо всех сил продолжал от всего отрекаться. <...> Впоследствии Федор Павлович сочинил подкидышу и фамилию; назвал он его Смердяковым, по прозвищу матери его, Лизаветы Смердящей» (14; 92-93).

И кем, кем была поручена Смердякову «роль отцеубийцы»? Какие доказательства этой роли есть у авторов «Примечаний»? Их нет.

О Лизавете Смердящей в «Примечаниях» говорится: «У нас нет свидетельств, что в период создания «Подростка» записи о Лизавете Смердящей ассоциировались у Достоевского с живущей в деревне отца писателя «дурочкой Аграфеной», которая «претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка». Очевидно, только в ходе работы над первыми книгами «Братьев Карамазовых» Достоевский присвоил имя Лизаветы Смердящей действующему лицу нового романа, прототипом которого послужила реально существовавшая юродивая, а ее сына называл Смердяковым» (15; 416).

О Смердякове и о том, кто его так назвал, уже сказано выше. Но какую связь с «дурочкой Аграфеной» имеет праведница Лизавета, живущая по заповедям Христа (Матф. 6. 25): «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?»?

И почему же «только в ходе работы над первыми книгами «Братьев Карамазовых»?

В романе «Бесы» также есть Лизавета: «Лизавета эта блаженная в ограде у нас (в монастыре — В.Ш.) вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубашке <...>, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище, — отвечает мать-игуменья (княжеского рода — В.Ш.) <...>, — Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и все одно притворство» (10; 116).

В романе «Братья Карамазовы» также «утверждали и у нас иные из господ, что все это она (Лизавета — В.Ш.) делает лишь из гордости» (14; 91).

Просидевшая семнадцать лет в клетке в романе «Бесы» Лизавета вышла на улицы Скотопригоньевска в романе «Братья Карамазовы», но сам образ «праведницы» мало изменился.

В главе романа «Лизавета Смердящая» говорится: «Ходила она всю жизнь, и летом и зимой, босая и в одной посконной рубашке. <...> Она входила в незнакомые дома, и никто не выгонял ее, напротив, всяк-то приласкает и грошик даст. Дадут ей грошик, она возьмет и тотчас снесет и опустит в которую-нибудь кружку, церковную аль острожную. Дадут ей на базаре бублик или калачик, непременно пойдет и первому встречному ребеночку отдаст <...> Сама же питалась не иначе как только черным хлебом с водой. Зайдет она, бывало, в богатую лавку <...> хозяева никогда ее не остерегаются, знают, что хоть тысячи выложи при ней денег и забудь, она из них не возьмет ни копейки» (14; 90-91).

«Не укради», «Все отдай и иди за мной» — учил Христос. Так и жила Лизавета.

О честности Смердякова, унаследованной от матери, говорит Повествователь в главе «Смердяков»: «Главное, в честности его он (Федор Павлович — В.Ш.) был уверен, и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет» (14; 116).

О его нестяжательности говорит на следствии Дмитрий Карамазов: «Денег не любит, подарков от меня вовсе не брал» (14; 428).

Безусловно то, что позволив Федору Павловичу Карамазову назвать младенца Смердяковым, Достоевский имел ввиду совсем другой смысл, а именно тот, что исстари на Руси смерд — это бесправный кормилец-труженик. Само его имя — Павел Федорович является инверсией, логическим отрицанием породившего его Федора Павловича.

Смердяков — это Федор Павлович наоборот.

Для старика Карамазова Смердяков — «иезуит смердящий» (14; 119). Для Дмитрия он — убийца отца, «смердящий, сын Смердящей» (15; 30). Для Ивана — «смердящая шельма» (15; 50). Смердяков — «смердящий»

для всего карамазовского семейства, несмотря на то, что Достоевский в своем романе неоднократно подчеркивает исключительную чистоплотность и аккуратность этого героя.

В «Словаре русского языка» в 4-х томах под ред. А.П.Евгеньевой (изд. 3-е, М., 1988 г., т. 4, с. 151) говорится:

«Смерд: 1. В древней Руси крестьянин — земледелец, находившийся в феодальной зависимости.

2. Устар. Презрительное название крепостного крестьянина, а позднее простолюдина, человека незнатного происхождения».

В словаре же Даля (2-е изд., М., 1882 г.) сказано: «Смерд — человек из черни, подлый (родом) мужик; особый разряд или сословие рабов, холопов; позже — крепостной».

Вот это и есть результат «застоя веков».

В «Черновых набросках» к роману Иван говорит Алеше: «Ты думаешь, я про бедных, про мужика, про работников? Они так вонючи, грубы, пьяны. Я желаю им всего лучшего, но не понимаю, как Христос согласился это любить, я Христовой любви не понимаю» (15; 229).

Нужный, соответствующий тому, что стало «хорошо известно и, можно сказать, общепринято», взгляд на Смердякова как на лакея-злодея, создается в рассказе Повествователя с описания его детских лет.

Смердяков — наследственный эпилептик. Описание поведения его деда: «Вечно болезненный и злобный Илья бесчеловечно бивал Лизавету, когда та приходила домой», — соответствует одной из форм эпилепсии без обязательного возникновения судорожных припадков. Предрасположенность к этой жестокой болезни проявилась у Смердякова с раннего возраста.

«Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос «без всякой благодарности» <...> и смотря на свет из угла», — пишет Повествователь. — В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвою кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне. Григорий поймал его **однажды на этом упражнении** и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю» (14; 114).

Так что же, «очень любил вешать кошек» маленький Смердяков, или это было все-таки **ОДНАЖДЫ**? И на каком «упражнении» поймал его Григорий? В то время, когда Смердяков вешал кошку, или во время похорон найденной им мертвой кошки? В рассказе Повествователя в подробности описывается конкретная церемония — церемония похорон.

Если верить Повествователю, то Смердяков «очень любил вешать кошек». А если верить описываемым в романе событиям, то однажды хоронил.

В статье «Геркулесовы столпы» Достоевский писал о наказании детей: «А знаете ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары вызывают в

них горестное удивление и слезы, которые видит и сочтет Бог. Ведь их рассудок никогда не в силах понять всей вины их. Видели ли вы или слышали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о сиротках в иных чужих злых семьях? Видели ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я сам видел) — и *ударяя себя крошечным кулачком в грудь*, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят» (22; 69).

Это — о маленьком Павле Смердякове. Читаем далее, в той же главе романа: «Григорий выучил его грамоте и, когда минуло ему лет двенадцать, стал учить Священной Истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся.

— Чего ты? — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков.

— Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?

Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. «А вот откуда!» — крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь, в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь» (14; 114).

Никак не связывает Повествователь между собой эти два события; неистовую пощечину, полученную в ответ на очень точный вопрос, заданный Смердяковым своему «учителю», и первый приступ падучей. Не связывает и читатель романа. И только через несколько сотен страниц произведения, в речи прокурора на суде, уже забывший о детских годах лакея, но оставивший в памяти образ гнусного и злобного мальчишки, он прочтет как бы случайную фразу о падучей Смердякова, «которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения» (15; 137).

Нравственное потрясение испытал в детстве Смердяков, усомнившись в том, что сказанное в Священной Истории — правда. В ответ — неистовая пощечина.

И не из чувства злобы к Григорию забился Смердяков в угол. Эпилептики перед приступом чувствуют недомогание. В первый раз страшный недуг, выразившийся в сумеречном состоянии, когда больной плохо сознает окружающую обстановку и не реагирует на вопросы, подступил к ребенку после несправедливого наказания розгой. Пощечина, нанесенная Смердякову в момент нравственного потрясения, обрекла его на пожизненные страдания.

Теперь о «высокомерном» взгляде Смердякова. Не раз в своем рассказе Повествователь будет упоминать этот взгляд: «высокомерный»,

«злой», «пристальный», упоминать именно в моменты нравственного напряжения Смердякова во время его свиданий с Иваном Карамазовым. Взгляд глаз «неподвижный и неприятный» (14; 90), которым всматривалась в окружающий ее мир безответная праведница Лизавета.

Отношение Повествователя к Павлу Смердякову в детстве — это отношение к нему «верного пса» Федора Павловича Карамазова слуги Григория. А это отношение выражалось в словах, не раз слышанных мальчиком от своего «воспитателя»: «Ты разве человек, — обращался он вдруг прямо к Смердякову, — ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто...» Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов» (14; 114).

В какой же степени читатель (и критик) может доверять суждениям Григория? Вспомним о том, что «это был человек твердый и неуклонный, упорно и прямолинейно идущий к своей точке, если только эта точка по каким-нибудь причинам (часто удивительно нелогическим) становилась пред ним как непреложная истина» (14; 86).

В рассказе Повествователя болезненный, впечатлительный и очень одинокий мальчик, Павел Смердяков, с описания его детских лет готовится к будущей роли убийцы Федора Павловича, роли, изначально не предназначенной для него в романе Федора Михайловича Достоевского.

В главе «Смердяков», как мы помним, прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», Смердяков на вопрос Федора Павловича: «Что же? Не смешно?» ответил: «Про неправду все написано» (14; 115).

В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский писал в связи с посещением колонии малолетних преступников: «На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети — в том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? — все это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу. <...> Ни Пушкин, ни севастьяновские рассказы, ни «Вечера на хуторе» <...> ни Кольцов <...> непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, Бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало как бы с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей» (22; 17, 23).

Из всех детей Федора Павловича Смердяков, превращенный в лакея в доме своего отца, наиболее остро переживает ощущение того, что он

enfant trouvé, что он «хуже всех». В главе «Смердяков с гитарой» он говорит об этом Марье Кондратьевне: «Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали, отсюда благодаря Григорию Васильевичу переползло-с» (14; 204).

Ощущение трагической безысходности своего собственного существования не приводит Смердякова к выводу о бессмысленности и безысходности существования всего человечества. Основа его нравственности — это совесть.

В «Черновых набросках» к роману Смердяков говорит Ивану: «Богато на свете нет-с, это пусть ваша правда, только совесть есть» (15; 332).

В «Записной тетради» за 1875-1876 гг. Достоевский записал: «Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог» (24; 109).

Свое понимание жизни «по совести» Смердяков, молчавший, как и Иван, всю свою жизнь, излагает в монологе «валаамовой ослицы»: «задавленный несправедливо гнетом обстоятельств, человек может совершить малодушный поступок с тем, «чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие» (14; 117).

Можно полагать, что именно в этих рассуждениях Смердякова даны и его точный психологический портрет, и объяснение всех его поступков в карамазовской истории до убийства Федора Павловича.

Если главная черта Ивана Карамазова, «изо всех детей наиболее похожего на Федора Павловича», — это «исступленная», животная жажда жизни, то наиболее непохожего, Смердякова, отличает отрицание своей «нежизни» и себя самого, изломанного гнетом обстоятельств, тяжелейшей наследственностью и жестоким недугом, эпилепсией.

Тема самоотрицания с поразительной силой звучит впервые в главе «Смердяков с гитарой»: «Я бы позволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с» (14; 204).

Она повторяется в главе «Пока еще очень неясная»: «Оба совсем блажные-с, оба дошли до самого малого ребячества-с, — продолжал Смердяков. — Я про вашего родителя и про вашего брата-с, Дмитрия Федоровича. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту: «Что не пришла? Зачем не пришла? <...> С другой стороны, такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству: «Смотри, дескать, шельма, бульонщик: проглядишь ее у меня, и не дашь знать, что пришла, — убью тебя прежде всякого» <...>. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчают оба-с, что думаю иной час от страху сам жизни себя лишить-с. Я сударь, на них не надеюсь-с» (14; 244-245).

И, наконец, она подчеркивается в конце третьего свидания с Иваном: «А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!» (15; 68).

Иван «не посмел». И Смердяков сам, своей волей сводит счеты с жизнью, «чтобы никого не винить».

Вернемся к трагическим событиям в Скотопригоньевске. Да, Смердяков сообщил Дмитрию и о пакете с тремя тысячами, приготовленными для Грушеньки, и о секретных стуках «Грушенька пришла». Но когда и почему?

В главе «Исповедь горячего сердца. Вверх пятами» Дмитрий говорит Алеше о том, что у отца «уж дней пять как вынуты три тысячи рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет под пятью печатями, а сверху красною тесемочкой накрест перевязаны. Видишь, как подробно знаю! На пакете же написано: «Ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти»; сам нацарапал, в тишине и тайне, и никто-то не знает, где у него деньги лежат, кроме лакея Смердякова, в честность которого он верит, как в себя самого. Вот он уже третий аль четвертый день Грушеньку ждет, надеется, что придет за пакетом, дал он ей знать, а та дала знать, что «может-де и приду». <...>

— Один Смердяков знает?

— Он один. Он мне и знать даст, коль та к старику придет.

— Это он тебе про пакет сказал?

— Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем» (14; 111-112).

А что такое «ни о чем»? После отъезда Ивана в Москву (через день после приведенной беседы) мы узнаем из рассуждений Федора Павловича: «Смердяков еще третьего дня уверил Федора Павловича, что передал ей (Грушеньке — В.Ш.), где и куда постучаться» (14; 256).

Надо полагать, что тогда же об этом узнал и Дмитрий. Это подтверждают показания Смердякова на следствии, приведенные на суде прокурором: «Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с», — говорил он на следствии, трясаясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. «Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщить им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с и живого на покаяние отпустили-с» (15; 136-137).

Сообщая Дмитрию о тайнах барина, Смердяков не мог даже предполагать катастрофического развития событий. Дежурства Дмитрия в саду и фантазии старика с секретными стуками больше походили на блажь влюбленных сумасбродов, а не на смертельное соперничество двух сладострастников.

Еще не было драматического столкновения Федора Павловича с Дмитрием в келье старца Зосимы, не произошла сцена в зале Федора Павловича и не написано «роковое письмо» Дмитрия Катерине Ивановне.

Не произошла еще и роковая встреча невесты Дмитрия с Грушенькой. А именно после этой встречи Дмитрий решает: «Непременно эти

три тысячи отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и *прежде всего*. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей, два дня тому назад вечером на дороге, после того как Грушенька оскорбила Катерину Ивановну <...>. Тогда же, в ту ночь, расставшись с братом почувствовал он в исступлении своем, что лучше даже «убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кате возвратить» (14; 331).

Смердякова Дмитрий в эти дни не видел. Расставшись с Алешей на дороге: «Гибель и мрак! Объяснять нечего, в свое время узнаешь. Смердный переулочек и инфернальница! Прощай. Не молись обо мне, не стой, да и не нужно совсем, совсем не нужно... не нуждаюсь вовсе! Прочь!» (14; 144), Дмитрий отправляется в трактир и пишет роковое письмо роковой Кате.

«Я получила его накануне самого преступления, а писал он его еще за день из трактира, стало быть, за два дня до своего преступления», — свидетельствует Катерина Ивановна на суде. А затем повторяет: «Это письмо я получила только на другой день вечером, мне из трактира принесли» (15; 119, 120).

Зачем Достоевский заставляет Катерину Ивановну дважды повторять то, что письмо было получено ею только на второй день? Где находилось это письмо, написанное на грязном клочке бумаги, кто его читал, а может передавал из рук в руки? Неясно. Но беседа Смердякова с Иваном у ворот показывает, что содержание письма стало известно лакею.

Сделаем выводы. В совершенно безобидной ситуации, когда Смердякову было ясно, что Грушенька к барину не придет, он, спасая свою жизнь от ярости необузданного Дмитрия, сообщает ему только то, что уже известно самой Грушеньке. А вдруг как она сама, смеясь, расскажет все своему обожателю? Что сделает с ним Дмитрий? Сломает, как обещал, «обе ноги», или «истолчет в ступе»?

Вполне вероятно также, что это был точный расчет. Предупредит Дмитрий Грушеньку, что ему все известно, и не придет она к старику. Тогда не случится и «катастрофы». Об этом говорит фраза Смердякова, сказанная Ивану у ворот: «Потому что оне, пожалуй, совсем и не намерены вовсе никогда прийти-с» (14; 245).

Домыслы? Возможно. Но они имеют под собой больше оснований, чем утверждение о том, что Смердяков готовился к убийству Федора Павловича.

И вдруг сцена в зале старика Карамазова и возглас Дмитрия: «А не убил, так еще приду убить, не устережете!» (14; 128).

Затем письмо Дмитрия Катерине Ивановне и в нем: «Роковая Катя! <...> Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. <...> Убью вора моего! <...> Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью!» (15; 55).

Страшно! Смердяков автоматически становится соучастником преступления. Единственная надежда — это «смелый человек» Иван Карамазов. Откроем том 14, главу «Сладострастники»:

«— Черт возьми, если б я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил. Много ли надо Езопу? — прошептал Иван Федорович.

— Боже сохрани! — воскликнул Алеша.

— А зачем «сохрани»? — все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. — Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!

Алеша вздрогнул.

— Я разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас» (14; 129-130).

Последние слова, сказанные Иваном уже не ШЕПОТОМ, слышал Смердяков, находившийся в это время в зале. Они становятся решающими в его отношении к Ивану.

Надежда на то, что «катастрофы» не произойдет и Иван «не даст совершиться убийству», заставила Смердякова ждать Ивана Карамазова у ворот. И только в этом смысл его беседы с Иваном перед отъездом последнего в Москву.

Главными мотивами поведения Смердякова до убийства Федора Павловича является желание избежать как «катастрофы», так и гибельного для него обвинения в соучастии в преступлении, что с совершенной очевидностью доказывают и «Черновые наброски» к роману, и дефинитивный текст.

Проводив Ивана Карамазова и услышав от него обещание защиты и поддержки в том, чтобы его, Смердякова, не заподозрили в краже денег («Видишь... В Чермашню еду...»), Смердяков совершает малодушный поступок. Он сообщает барину, что «они (Грушенька — В.Ш.) уж несомненно обещали прибыть-с», а затем падает в погреб в приступе падучей болезни.

Вот тут один из интереснейших вопросов романа, притворился ли при этом Смердяков или нет?

Проще всего поверить его «признанию» в беседе с Иваном:

«— Вы уехали, а я упал тогда в погреб-с...

— В падучей или притворился?

— Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли» (15; 61).

Но тот же Смердяков говорит Ивану при первой встрече: «Дался вам этот самый погреб. Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: «Вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь, али нет?», и от самого этого сумления вдруг схватила меня в горле эта самая неминуемая спазма-с... ну и полетел» (15; 44).

Где правда?

Откроем главу «С умным человеком и поговорить любопытно»:

«Смердяков пошел зачем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. <...> Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз, так что он, конечно, тотчас же и должен был слететь вниз в бесчувствии, или, напротив, уже от падения и сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок — разобрать нельзя было, но нашли его уже на дне погреба, в корчах и судорогах, бьющимся и с пеной у рта». Вызванный доктор Герценштубе «заключил, что припадок чрезвычайный» и «может грозить опасностью» (14; 255–256).

Предельно точен Достоевский в каждом слове «ювелирски отделанного» текста произведения. Не по рассказам Смердякова (он был в беспомощности), а по внешним признакам, синякам и ссадинам на теле лакея, определили, что упал он вниз именно с «верхней ступеньки». Не «спокойно сошел-с» Смердяков и не «спокойно лег-с», а — слетел вниз в бесчувствии.

«Думали сначала, что он наверно сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся, но, однако «сберег Господь», как выразилась Марфа Игнатьевна» (14; 256), — пишет Повествователь.

Натуральность приступа падучей у Смердякова ПОСЛЕ убийства Федора Павловича подтверждается и медиком, прибывшим вместе со следователями на место «катастрофы», который, «освидетельствовав больного, сказал даже нам, что он не доживет, может быть, и до утра» (14; 429). Этот факт подтверждается и в главе «Первое свидание со Смердяковым»: «Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: «Не притворялся ли он в день катастрофы?» (15; 43).

А до убийства? В «Черновых набросках» к первому свиданию Ивана со Смердяковым есть выделенная Автором романа запись после беседы:

«— А почему сказал, что притворяться в падучей умеешь?

— <...> Если б я хотел убить, сказал ли бы я вам, что умею притвориться».

Вот она, эта запись:

«Падучая была натуральна» (15; 314).

Следует отметить, что Достоевский сделал эту запись не для читателя, а для себя. Он отметил то, что в скрытой или явной форме должно было прозвучать в дефинитивном тексте.

И это действительно прозвучало. Не притворялся Смердяков.

Приступ падучей болезни был натуральный. Его «признание» — это вымысел.

И все-таки Смердяков забрал три тысячи из кабинета Федора Павловича. Мы обязаны этому верить, несмотря на то, что признанию Ивана на суде — «А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — вот деньги... те самые, которые лежали вот в том пакете, — он кивнул на стол с

вещественными доказательствами, — и из-за которых убили отца. Куда положить?» (15; 116) — не поверили ни публика, ни судебные заседатели. Обязаны потому, что только после того, как Смердяков предъявил Ивану пачку радужных кредиток: «Вот здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с» (15; 60), Иван Карамазов поверил «признанию» Смердякова: «Я все на Дмитрия думал. Брат! Брат! — Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай: ты один убил? Без брата или с братом?» (15; 61).

Смердяков мог сколько угодно сочинять нелепости (а их перечень можно продолжить) в своем «признании» в убийстве, но он не мог «сочинить» деньги.

«Падучая была натуральна», но Смердяков побывал на месте происшествия. Когда?

В речи прокурора на суде приводится тщательный анализ всех возможных вариантов участия Смердякова в событиях трагической ночи. Интересно в этой речи рассуждение о падучей Смердякова, совпадающее по смыслу с записью Достоевского в «Черновых набросках»: «А может быть, падучая была настоящая. Больной вдруг очнулся, услышав крик, вышел» — ну и что же? Посмотрел да и сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, что тут было, что тут произошло, ведь он до сих пор лежал в беспамятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям» (15; 140).

Та же мысль (но в другом контексте) повторяется в речи Фетюковича: «Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем натурально, но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. <...> Он мог очнуться и встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон) именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: «Отцеубивец!». Крик-то этот необычайный, в тишине и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок: он, естественно, мог уже час тому как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался» (15; 165).

И прокурор, и защитник согласны и с записью Достоевского (очень хорошо знавшего особенности эпилепсии), и с заключением Герценштубе, но предполагают одно и то же: Смердяков МОГ очнуться, услышав крик, и встать с постели.

КОГДА, услышав КАКОЙ крик, Смердяков МОГ это сделать?

События трагической ночи описаны в главе «Тревога»: «Марфа Игнатьевна <...> спала крепким сном на своей постеле <...>, однако же, про-

будилась. <...> Спросонья она вскочила и почти без памяти бросилась в каморку к Смердякову. <...> но вдруг сообразила, что ведь Григория-то на кровати, когда она вставала, как бы и не было. <...> Робко сошла она со ступенек и разглядела, что калитка в сад отворена. <...> и вдруг явственно услышала, что ее зовет Григорий, кличет: «Марфа, Марфа!» — слабым, стнящим, страшным голосом. «Господи, сохрани нас от беды», — прошептала Марфа Игнатьевна и бросилась на зов, и вот таким-то образом и нашла Григория. <...> Она тотчас заметила, что он весь в крови и тут же закричала благим матом, Григорий же лепетал тихо и бессвязно: «Убил... отца убил... чего кричишь, дура... беги, зови...» Но Марфа Игнатьевна не унималась и все кричала и вдруг, завидев, что у барина отворено окно и в окне свет, побежала к нему и начала звать Федора Павловича. Но, взглянув в окно, увидела страшное зрелище: барин лежал навзничь на полу, без движения. <...> Тут уж в последней степени ужаса Марфа Игнатьевна бросилась от окна, выбежала из сада, отворила воротный запор и побежала сломя голову на зады к соседке Марье Кондратьевне» (14; 408-409).

И далее: «Прибежав на место, где лежал Григорий, обе женщины с помощью Фомы перенесли его во флигель. Зажгли огонь и увидали, что Смердяков все еще не унимается и бьется в своей коморке, скосил глаза, а с губ его текла пена. Голову Григория обмыли водой с уксусом, и от воды он совсем уже опаматовался и тотчас спросил: «Убит аль нет барин?» Обе женщины и Фома пошли тогда к барину и, войдя в сад, увидали на этот раз, что не только окно, но и дверь из дома в сад стояла настежь отпертою» (14; 410).

В письме своему брату Михаилу Достоевский писал по поводу выхода в свет своего первого романа «Бедные люди»: «Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет» (28, I; 117-118). Надо полагать, что «слова лишнего нет» и в последнем, «ювелирски отделанном» (30, I; 109) произведении Федора Михайловича.

Подробнейшее, на первый взгляд избыточное ненужными подробностями и «лишними словами», описание событий имеет свой, необходимый для Автора смысл. А именно тот, что дверь из дома в сад была открыта тогда, когда Марфа бегала за помощью к Марье Кондратьевне.

Именно тогда Смердяков, разбуженный криками («благим матом») Марфы (он мог «уже час тому как начать просыпаться» после вопля Григория: «Отцеубивец!»), МОГ очнуться, встать с постели и отправиться «почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое».

Именно тогда, проникнув в кабинет барина через низкое окошко, Смердяков МОГ забрать пачку радужных кредиток, разорвав не найденный убийцей конверт, и бросить улику «почти бессознательно и безо всякого намерения», на пол.

Затем МОГ выйти из дома, оставив дверь открытой, и вернуться в свою постель, где его, потрясенного случившимся, МОГ настичь повтор-

ный приступ, едва не стоивший ему жизни. И тогда «обе женщины и Фома <...> увидели не этот раз, что не только окно, но и дверь из дома в сад стояла настежь отпертою».

Именно это подсказывает читателю Достоевский в своем романе.

Фантастично? Конечно, проще принять за истину абсурдное «признание» Смердякова и сто с лишним лет утверждать, что он убийца.

В своем «Дневнике писателя» Достоевский отмечал: «В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гонятся за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим» (21; 119).

На основании изложенного выше можно сделать вывод: в «признании» Смердякова столько откровенных, нарочитых нелепостей, что оно в полной мере доказывает как непричастность его к убийству Федора Павловича, так и отсутствие у него какого-либо злого умысла.

Казалось бы, Смердяков способен достичь своей цели — «жизнь начать». У него есть все, свобода и деньги. Он неподсуден. Сложившиеся обстоятельства, заключения медиков и показания Григория гарантируют ему алиби. Никто не может обвинить его ни в убийстве Федора Павловича, ни в соучастии в преступлении, ни в краже денег.

Надо только переступить через себя, через свою врожденную честность и, не перечая Ивану Карамазову, позволить суду приговорить Дмитрия к каторге. Надо только сказать: «Я был в беспамятстве и **ничего не знаю**». И все!

Но Смердяков упорно идет к своему трагическому финалу, доказывая Ивану его причастность к «катастрофе», а затем и прямо обвиняя его в убийстве отца. Еще в начале третьего свидания, уже «почти умирающий», он еще пытается остановить себя на краю пропасти словами: «Отстаньте-с. <...> Чего вы ко мне пристаєте-с? Чего меня мучите? — со страданием проговорил Смердяков» (15; 58).

И вслед за этим: «Чего вы все беспокоитесь? — вдруг уставился на него (Ивана — В.Ш) Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже гадливостью, — это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать <...>. Ничего на вас не покажу, нет улик» (15; 59).

Но затем решительно делает последний шаг: «Ан вот вы-то и убили, коль так».

И далее: «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил» (15; 59).

Все! Шаг сделан и обратной дороги уже нет, но нет ее уже и для организатора убийства отца Ивана Карамазова. В пропасть они падают вместе.

Отрешенный от жизни, замкнувшийся в себе «созерцатель» попытался сыграть роль «смелого человека», которому «все позволено», попытался «жизнь начать» и — потерпел крах.

Смердяков «говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намерение» (15; 63). Какое намерение у Смердякова, которого «как за мошку считали всю <...> жизнь, а не за человека»? (15; 67).

Он возвращает Ивану Карамазову фальшивый билет стоимостью в три тысячи рублей в придуманный бывшим «смелым человеком» рай для людей, которым «все позволено». Рай оказался адом, содержание которого — мучительные терзания совести. И намерение Смердякова — отмерить Ивану Карамазову, не сознающему своей вины в случившейся «катастрофе», положенную ему долю страданий и ответственности за гибель отца. И чем коварнее и расчетливее в «признании» Смердякова вор и убийца — лакей, тем весомее и страшнее эта доля.

Можно только предполагать, что сделал бы Смердяков, если бы не этот последний, роковой для него визит Ивана Карамазова. Что сказали ему «Святого отца нашего Исаака Сирина слова»? Какой-то ответ он нашел для себя твердо: «Ничего на вас не покажу <...> Идите домой...». Но вот какой? Незадолго до суда он сказал Катерине Ивановне, что Дмитрий в смерти отца невиновен...

Винит ли Смердяков в убийстве Федора Павловича Ивана Карамазова? Да тоже нет. Не в этом смысл его «признания». Так НЕ БЫЛО, но именно этого хотел Иван и Смердяков предоставляет ему возможность во всей полноте ощутить ответственность за исполнение своих желаний. Другого способа доказать Ивану Карамазову, что он является главным виновником гибели отца, у Смердякова нет!

Роль Смердякова в романе «Братья Карамазовы» весьма значительна. В «Черновых набросках» Достоевского к роману говорится:

«Алексей не так, как Иван, деньги — сердце цело, а остальное все только временно отвело Алешу» (15; 201).

В романе это скажет Ивану Смердяков при третьей встрече: «Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с» (15; 68).

В тех же «Черновых набросках» есть запись об Иване Карамазове: «Для чего Мите предлагал бежать. Из жалости и Катерину Ивановну (он думал). Нет, а потому, что чувствовал себя нравственно таким же убийцей, как он, за те же желания, может быть, пожалев, что деньги у отца уйдут черт знает на что, на Грушеньку, а его минуют» (15; 323).

В дефинитивном тексте об этом также скажет Ивану Смердяков при второй встрече: «А наследство-то-с? <...> Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прийти, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с Аграфене Александровне <...> вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя» (15; 52).

В главе «С умным человеком и поговорить любопытно» Повествова-

тель пишет об Иване: «Поздно он лег в эту ночь, часа в два. Но мы не станем передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу: этой душе свой черед» (14; 251).

«Черед» наступает при третьей встрече Ивана со Смердяковым: «Вы как Федор Павлович, наиболее-с, из всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с» (15; 68), — говорит Ивану Смердяков. Читаем о Федоре Павловиче в начале романа: «Злой шут и больше ничего <...> страстно желал устроить свою карьеру хотя чем бы то ни было; примазаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво» (14; 8).

И, наконец, в своих «Черновых набросках» Достоевский называет Ивана Карамазова «Убийцей» (15; 207). В романе «убийцей» называет Ивана Смердяков: «Вы убили, вы главный убийца и есть».

Главная идея романа «Братья Карамазовы», созвучная идее творчества В.Гюго, созвучна и идее Апостола Павла (1-е Послание к Коринфянам):

1.27. Но Богъ избралъ безумное міра, дабы посрамить мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, дабы посрамить сильное;

1.28. И незнатное міра и уничиженное и ничего не значущее избралъ Богъ, дабы разрушить значущее.

1.29. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась предъ Богомъ.

(Цитируется по книге «Господа нашего Иисуса Христа Новый Заветъ». Санкт-Петербург. Типография Российского Библейского Общества. 1823 г. Экземпляр этого издания принадлежал Ф.М.Достоевскому).

В «Черновых набросках» к роману есть запись показаний Алеши Карамазова на суде:

«Алеша: «Убил Смердяков. Я не имею никаких доказательств, это лишь мое убеждение <...> Я говорю со слов брата (Мити). Я верю, что брат невиновен, другому, кроме Смердякова, убить некому».

— Как он сделал — я не знаю. Смердяков был честен <...>.

Алеша: «Я не считал Смердякова сумасшедшим, не считал и дураком. Но ум его был несомненно поврежден. («От божественного?» — «Да, и от божественного».)» (15; 360-361).

Приведенная цитата имеет очень интересное продолжение: «Чрезмерное самомнение. Уверенность, что он мог бы занимать несравненно высшую роль. Ненависть к России. Никаких корней в родной земле. От Смердящей родился. Я приехал, застал его на идее бежать за границу. Он все расспрашивал о Франции и об Америке» (15; 361).

В тексте романа этих высказываний Алеши на суде нет. Но те же слова о Смердякове звучат в речи адвоката Фетюковича: «Я собрал (собрал? — В.Ш.) кой-какие сведения; он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что «от Смердящей произошел». <...> Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне ка-

жется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко» (15; 164-165).

Слова Алеши (в «Черновых набросках») о том, что измученный эпилепсией Смердяков, молчавший всю свою жизнь, имел идею бежать (!) за границу, ненавидел Россию, и обсуждал эти вопросы с Алешей, которого он презирал, звучали бы настолько лживо и неправдоподобно, что Достоевский убрал их в дефинитивном тексте. Но анонимный информатор Фетюковича определяется однозначно. Это — Алеша Карамазов.

Это подтверждает диалог Грушеньки с Алешей в главе «Грушенька»:
«— <...> Ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи! Неужели ж его (Дмитрия — В.Ш.) за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? <...> Господи! да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. <...>»

— <...> Я его вчера видел.

— Ну и что ж? Говорил ему? — вскинулась торопливо Грушенька.

— Он выслушал и ничего не сказал. <...> Но обещал мои слова взять в соображение» (15; 9-10).

КАКИЕ СЛОВА?

Эти же слова звучат в ПОДСЛУШАННОЙ Алешей беседе Смердякова с Марьей Кондратьевной: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна».

И далее: «Была бы в кармане моем такая сумма, и меня бы здесь давно не было. <...> Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке» (14; 205).

Но странно, очень странно, что Алеша на суде не объявил об этой очень важной для суда подслушанной беседе. Почему? Забыл?

И даже после слов прокурора: «О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся, — но факт осязаемый, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом <...> Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться» (15; 150), даже после этих слов не встал Алеша и не рассказал правду, если она была, о Смердякове.

ПОЧЕМУ?

Возможно, потому, что судья потребовал бы подтверждения показаний Алеши свидетельницей, Марьей Кондратьевной.

Алеша рассказал о подслушанной им беседе (а откуда бы иначе узнал об этом Повествователь) уже после кончины Смердякова и суда над Дмитрием. А молва не требует подтверждений. Кто же в обществе Ското-пригоньевска после слов Алексея Федоровича Карамазова, в одночасье ставшего богатым и уважаемым человеком, будет слушать нищенствующую мещанку Марью Кондратьевну.

Оправдание «униженного и всеми отринутого парии общества»,

Смердякова убедительно звучит в речи на суде прокурора Ипполита Кирилловича: «Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьевна, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человека: подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков, другого никого нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот, стало быть, откуда произошло это «хитрое» и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд» (15; 138).

Абсурдность этого обвинения подтверждает на следствии Дмитрий Карамазов:

«И уж конечно стали записывать, но когда записывали, то прокурор вдруг, как бы совсем внезапно наткнувшись на новую мысль, проговорил:

— А ведь если знал про эти знаки и Смердяков, а вы радикально отвергаете всякое на себя обвинение в смерти вашего родителя, то вот не он ли, простучав условные знаки, заставил отца отпереть себе, а затем и... совершил преступление?

Митя глубоко насмешливым, но в то же время и страшно ненавистным взглядом посмотрел на него. <...>

— Опять поймали лисицу! — проговорил наконец Митя, — прищемили мерзавку за хвост, хе-хе! Я вижу вас насквозь, прокурор! Вы ведь так и думали, что я сейчас вскочу, уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во все горло: «Ай, это Смердяков, вот убийца!» Признавайтесь, что вы это думали, признавайтесь, тогда буду продолжать.

Но прокурор не признался. Он молчал и ждал.

— Ошиблись, не закричу на Смердякова! — сказал Митя.

— И даже не подозреваете его вовсе?

— А вы подозреваете?

— Подозревали и его.

Митя уткнулся глазами в пол.

— Шутки в сторону, — проговорил он мрачно, — слушайте: с самого начала, вот почти еще тогда, когда я выбежал к вам давеча из-за этой занавески, у меня мелькнула уж эта мысль: «Смердяков!». <...> И не отставал Смердяков от души. Наконец теперь подумал вдруг то же: «Смердяков», но лишь на секунду: тотчас же рядом подумал: «Нет, не Смердяков!» Не его это дело, господа!

— Не подозреваете ли вы в таком случае и еще какое другое лицо?
— Не знаю, кто или какое лицо, рука Небес или сатана, но... не Смердяков! — решительно отрезал Митя» (14; 427-428).

Правда потом, под давлением неопровержимых улик, как бы прозрев, Дмитрий восклицает «во все горло»:

«— Господа, это Смердяков! — закричал он вдруг изо всей силы, — это он убил, он ограбил! Только он один и знал, где спрятан у старика конверт... Это он, теперь ясно!» (14; 439).

Но это было потом. И логика Дмитрия, загнанного в угол, не меняет первой его мысли, его УБЕЖДЕНИЯ: «Не Смердяков!».

Абсурдность обвинения Смердякова понимал Алеша, не высказавший на суде ни одного слова против лакея и обвинивший его уже потом, после вынесения приговора брату Дмитрию.

Абсурдность этого обвинения подтвердил, как мы помним, и Иван Карамазов в своей беседе с Алешей в главе «Не ты, не ты!», непосредственно перед третьим свиданием со Смердяковым: «Кто? Это басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?» (15; 39).

Он подтвердил абсурдность этого обвинения в начале третьего свидания, когда «признание» лакея в убийстве явилось для него ошеломляющей неожиданностью: «Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. — Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!» (15; 60).

Абсурдность этого обвинения подтверждает само «признание» обвиняемого.

Роман «Братья Карамазовы» не окончен. В ходе дальнейшего повествования вполне могло появиться некое «шестое лицо», на которое пало бы «хоть тень, хоть подозрение» в убийстве Федора Павловича и подтвердившее «абсурдность» обвинения в этом убийстве Смердякова.

Аналогичный случай описывается Достоевским в главе «Лизавета Смердящая»: «Через пять или шесть месяцев все в городе заговорили с искренним и чрезвычайным негодованием о том, что Лизавета ходит беременная, спрашивали и доискивались: чей грех, кто обидчик? Вот тут-то вдруг и разнеслась по всему городу странная молва, что обидчик есть самый этот Федор Павлович. Откуда взялась эта молва? Из той ватаги гулявших господ как раз оставался к тому времени в городе лишь один участник, да и то пожилой и почтенный статский советник, обладавший семейством и взрослыми дочерьми и который уж отнюдь ничего бы не стал распространять, если бы даже что и было; прочие же участники, человек пять, на ту пору разъехались. Но молва прямешенько указывала на Федора Павловича и продолжала указывать. <...> Вот в эту пору Григорий энергически и изо всех сил стал за своего барина и не только защищал его против всех этих наговоров, но вступал за него в брань и препирательства и многих переуверил. «Она сама, низкая, виновата», — говорил он утвердительно, а обидчиком был не кто иной, как «Карп с винтом» (так назывался один известный тогда городу страшный

арестант, к тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший). Догадка эта показалась правдоподобною, Карпа помнили, именно помнили, что в те самые ночи, под осень, он по городу шлялся и троих ограбил» (14; 92).

«Странная молва» о виновности Смердякова в убийстве Федора Павловича, не имеющая под собой никаких оснований, кроме абсурдного и недостоверного «признания» лакея и обвинения Алеши Карамазова («Убил лакей, а брат невинен»), так же могла быть опровергнута новой «догадкой», показавшейся правдоподобной. Как? Каким образом?

В главе «Сладострастники» интересен с этой точки зрения диалог Федора Павловича с Иваном:

«— Да ведь вы видели сами, что она (Грушенька — В.Ш.) не приходила! — кричал Иван.

— А может быть, через тот вход?

— Да ведь он заперт, тот вход, а ключ у вас» (14; 128).

В доме старика Карамазова был еще другой вход, кроме двери, выходящей в сад. Ни об этом другом входе, ни о ключе ни на следствии ни на суде не было сказано ни слова. А может быть этот второй вход был (догадка может показаться правдоподобной) отперт? Отперт самим Федором Павловичем в ожидании Грушеньки?

Зачем-то Иван говорит мужикам в главе «С умным человеком и поговорить любопытно»:

«— Не надо в Чермашню. Не опоздаю, братцы, к семи часам на железную дорогу?

— Как раз потрафим. Запрягать, что ли?

— Впрягай мигом. Не будет ли кто завтра из вас в городе?

— Как не быть, вот Митрий будет.

— Не можешь ли, Митрий, услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Федору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в Чермашню не поехал, можешь али нет?

— Почему не зайти, зайдём; Федора Павловича очень давно знаем» (14; 255).

Зашел к старику Карамазову Митрий или нет? А если зашел...? О страшном послании Дмитрия Катерине Ивановне, написанном на грязном клочке бумаги в трактире и переданном ей только на другой день знал («разнеслось по всему городу») не один человек, если содержание это послания стало известно Смердякову. А в этом послании: «пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам» (15; 55).

Одним словом, оснований для новой «правдоподобной догадки» и у общества Скотопригоньевска, и у Повествователя, и у читателя достаточно. «Пять человек», которых можно было хоть как-то причислить к числу подозреваемых, либо умерли, либо разъехались. О слуге Григории и о его жене Марфе Повествователь упоминает в прошедшем времени: «был», «была».

Кто это необходимое для «оправдания униженного и всеми отринутого парии общества» Смердякова «шестое лицо»? Об этом знал только Федор Михайлович Достоевский.

Абсурдная в части признания Смердякова в убийстве Федора Павловича, третья беседа Смердякова с Иваном содержит в себе, между тем, очень важное обстоятельство. Она является безусловным оправданием Дмитрия.

В письме Любимову от 16 ноября 1879 г. Достоевский писал о Дмитрии: «Принимает душой наказание <...> за то, что <...> мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой» (30, I; 130). Вот эту ложность обвинения и подтверждает Смердяков. Он опровергает показание Григория о том, что дверь была открыта в то время, когда Дмитрий убегал из сада. Он также подтверждает показание Дмитрия о том, что он не грабил отца. Улик против Дмитрия на суде главном, читательском, больше нет.

В письме Любимову от 8 июля 1879 г. Федор Михайлович сообщал о романе «Братья Карамазовы»: «В нем есть мысль, которую хотелось бы провести как можно яснее. В ней суд и казнь и постановка одного из главнейших характеров, Ивана Карамазова» (30, I; 76). И суд над Иваном и казнь его совершает ни кто иной, как Смердяков. Именно «признание» Смердякова служит основанием для «признания» Ивана Карамазова на суде: «Он убил, а я его научил убить...» (15; 117).

В самом начале третьей встречи Смердяков говорит Ивану:

«— <...> Идите домой, *не вы убили*.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша» (15; 59).

Глава «Не ты, не ты!»: «Брат, — дрожащим голосом начал опять Алеша, — <...> я тебе на всю жизнь это слово сказал: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать...» (15; 40).

В «Черновых набросках» к роману эта мысль звучит более определенно: «В третьем свидании Смердяков ему прямо говорит, *как и Алеша*: «Вы несколько раз себя спрашивали, вы ли убили? (Иван вздрогнул)» (15; 333).

И в уста Алеши, и в уста Смердякова Достоевский вкладывал одну и ту же мысль: «Убил лакей, а брат невинен».

И только после слов Ивана при третьей встрече:

«— Я знаю, что не я...».

И только тогда, и никак не раньше, звучит: «— Зна-е-те?»

И только тогда:

«— Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал» Смердяков Ивану (15; 59).

И это обращение уже не к *брату* Ивану, а к *лакею* своих низменных страстей Ивану Карамазову.

Вот эта бессовестность, вот это отрицание своей вины за то, что уже произошло, и за то, что должно произойти назавтра на суде над Дмитрием, и послужило основанием Смердякову для суда над Иваном и

для казни его. Но и в этом суде, и в этой казни, в абсурдности «признания» Смердякова, содержится идея оправдания Ивана как *брата*. «Признание» Смердякова, по-существу, опровергает «признание» Ивана на суде читательском.

Неоднозначность, неопределенность в вопросе «темной кончины» Федора Павловича Карамазова в романе имеет огромный смысл, именно и подымающий идею произведения над уровнем бытовой криминальной драмы и переводящий его в совершенно другую плоскость, в плоскость историческую и нравственно-философскую. Физическим убийцей старика Карамазова мог оказаться случайный человек, типа «Федьки-каторжного» или «Карпа с винтом». Значение имеет общее согласие братьев Карамазовых на убийство отца. Идея (зерно) отцеубийства, брошенная в общество и воспринятая обществом, как идея целесообразная, будет воплощена тем или иным образом. Об этом роман.

По существу убийца — это поле зла (мощным катализатором которого явилась «диалектика» Ивана Карамазова), принявшее в Скотопригольевске форму закона бытия и о котором сам Иван, уже находясь на грани сумасшествия, бросит страшные слова в залу судебного заседания: «Тот и есть, что в уме... и в подлом уме, таком же, как и вы, как и все эти рожки! — обернулся он вдруг на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отцеубийства — все бы разошлись <...> злые... Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я хорош!» (15; 117).

И это — «постановка» Ивана Карамазова.

Нетрудно заметить, что в зале, среди публики, находятся и главные герои романа, уже давшие свои показания. И к ним относятся слова Ивана: «Убили отца!»

Федора Павловича «убил» Алеша Карамазов, намеренно не выполнивший наказ старца Зосимы и трижды «забывший» о брате Дмитрие, трижды отрекшийся от него.

Его «убила» Катерина Ивановна, получившая за день до убийства письмо Дмитрия. Целый день предоставил Автор романа невесте Дмитрия на то, чтобы предотвратить отцеубийство, но оскорбленная и униженная Грушенькой, она спрячет это письмо в ящик письменного стола и сохранит до суда.

Его «убила» Грушенька Светлова, наслаждавшаяся своей безграничной властью над отцом и сыном. И она признается на суде: «Я во всем виновата, я смеялась над тем <...> и над этим и их обоих до того довела. Из-за меня все произошло» (15; 113).

Его «убил» купец Самсонов, отправивший Дмитрия к «Лягавому», заведомо зная, что «Лягавый» (Горсткин) не будет Дмитрия и слушать. Не потерял бы Дмитрий Грушеньку из виду, и не случилось бы «катастрофы».

Его «убила» богатая вдова госпожа Хохлакова, пообещавшая Дмитрию «спасти» его, дав «безмерно больше», чем три тысячи («Господи <...> Вы спасаете человека <...> от насильственной смерти, от пистолета... Вечная благодарность моя...» — восклицает Дмитрий), а затем посоветовавшая ему: «Прииски, прииски и прииски!»

А три тысячи?

«— Три тысячи? Это рублей? Ох, нет, у меня нет трех тысяч, — с каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова. Митя обомлел...» (14; 350).

Все общество Скотопригоньевска, живущее по закону: «один гад съедает другую гадину», причастно к «катастрофе».

После того, как в октябрьской (1879 г.) книге «Русского Вестника» была напечатана первая половина восьмой книги романа, оканчивающаяся главой «В темноте», к Достоевскому обратилась некая читательница Е.Н.Лебедева, задавшая, по-видимому, Автору романа простой вопрос: «Кто убил Федора Павловича?»

Ответ Достоевского начинается словами: «Старика Карамазова убил слуга Смердяков» (30, I; 129).

Да, Федора Павловича «убил» и Смердяков. «Убил» тем, что поверив словам Ивана: «Не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас», рассказал ему, а не барину о том, что о секретных стуках «Грушенька пришла» и о пакете с деньгами, приготовленными для нее, стало известно Дмитрию.

Что сделал бы Смердяков, если бы Иван сказал ему то, что сказал и Катерине Ивановне, и Алеше: «Уезжаю надолго, навсегда», «кончил дела и еду», «не сторож я брату моему»? Или то, что пообещал отцу, что заедет, только заедет в Чермашню по дороге в Москву, и не собирается возвращаться? Не совершил бы, спасая свою жизнь, Смердяков малодушного поступка, сказав Федору Павловичу о том, что «они (Грушенька) уж несомненно обещали прибыть». Не было бы у него упования на Ивана «единственно как на Господа Бога» (15; 44) в том случае, если его заподозрят в соучастии с Дмитрием в краже денег, и ничего не оставалось бы ему делать, как признаться во всем барину.

Что сделал бы со Смердяковым потом Федор Павлович, который терпит его в своем доме лишь за то, «что не украдет он, вот что, не сплетник он, молчит, из дому сору не вынесет, кулебяки славно печет, да к тому же ко всему и черт с ним, по правде-то, так стоит ли об нем говорить?» (14; 122). Выгнал бы прочь, больного и беспомощного, без средств к существованию?

А что сделал бы с ним Дмитрий, узнав о том, что лакей признался Езопу? Одному Богу известно.

Но не случилось бы «катастрофы».

Главным «убийцей» отца является Иван Карамазов. Имеющий «косвенное» (30, II; 46) отношение к убийству отца физическому, «западник» Иван является убийцей нравственным. Именно его идея отцеубийства

была воспринята и Дмитрием, и Алешей Карамазовыми, как идея целесообразная, в фабульном контексте романа. Та же идея, идея убийства Императора Александра II, провозглашенная «западниками» в России, привела к исторической «катастрофе» 1 марта 1881 г.

В своих «Воспоминаниях» (Москва. Издательство «Правда». 1987 г. стр. 391) Анна Григорьевна Достоевская писала: «Издавать «Дневник писателя» Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть «Братьев Карамазовых», где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать в своей жизни. Намеченный Федором Михайловичем план будущего романа, по его рассказам и заметкам, был необыкновенно интересен, и истинно жаль, что роману не суждено было осуществиться».

Был план и были заметки Достоевского о втором романе. Значит они не могли исчезнуть бесследно. Рано или поздно они будут найдены и опубликованы и мы узнаем истину о величайшем в истории Мировой литературы произведении. Будем ждать.

Отзывы и критические замечания прошу присылать по адресу:
117333, Москва, Университетский проспект. Д. 4. Кв. 494.

Шевченко Валерию Григорьевичу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ «Ф.М.Достоевский. Статьи и материалы». Сб. II, под ред. А.С.Долиннина. . М.-Л.: Мысль, 1924, с. 91.

² Ю.Карякин «Достоевский и канун XXI века». М.: Советский писатель, 1989, с. 197.

³ Ю.Г.Кудрявцев. «Три круга Достоевского». М.: Изд-во Московского государственного университета, 1979, с. 189.